

Александр Торин
Лепестки Граната

Copyright © 2004 Alexander Taratorin. All rights reserved.



Любое изменение этого текста, а также воспроизведение его в коммерческих целях может осуществляться только с согласия автора.

E-mail: amtar@pacbell.net

1.

Худо, худо мне, Господи! На улице поземка... дома что в погребке пустом – холодина и жрать нечего, а уж что вокруг происходит, так впору зарыться в подушку...

А ведь в памяти осталась жизнь. Где светло и девушки в длинных платьях, и непременно с зонтиками. Зонтики – совершенно бессмысленный элемент дамского туалета. От проливных дождей все равно не спасает. Плесневеет только. У нас в Тифлисе были дожди. Господи, да какие дожди... а радуги... А пикники... И юная Леночка, пользуясь своим положением всеобщей любимицы, все крутилась между нами, заигрывая неумело и наслаждаясь своей непорочным кокетством...

Остановись, мгновенье... Вот бежит она, нимфа, сошедшая с картин старых итальянцев... А ведь у командира полка уже брюшко, мундир едва сходится. Да и рядом смертельно скучная супруга, от которой вечно несет нафталином, и четверо дочерей, которые от бравого отца не взяли ничего, ни дать, ни взять – купчихи чистой воды.

Я тогда еще ее укорял, глупую, мол, ей бы с куклами носиться. А она манила меня пальчиком, этим тоненьким, милым, трогательным, с подростковыми заусеницами, и шептала на ухо, сладко дыша: «Владимир Николаевич, вы на меня не сердитесь, это я просто вас дразню, чтобы вы наконец решились меня поцеловать»...

– Леночка, поверьте, я лишь сдерживаю себя, я боготворю Вас...

– Вот и боготворите дальше, глупый, – посылала она мне воздушный поцелуй и убегала ...

Да, я был хорош, свежее испеченный выпускник военно-медицинской академии, наивный и восторженный чудак. Друзья надо мной посмеивались – бывало на какой-нибудь вечеринке сяду в углу и начну сочинять...

*Аромат от земли-
Всех цветов благодать.
В теплой лунной пыли
Предо мной ее стать...*

Глупейший сборник стихов «Лепестки Граната». Книжка издана смешным тиражом – 500 экземпляров, из которых около тридцати купили обыватели, сотню я раздарил друзьям, дамам, конечно, большей частью, остальные через год наверняка были пущены на растопку печей и подтирание задниц победившим пролетариатом.

А ведь там были и неплохие стихи. Ведь были, были! Вот этот, например, «Вы стояли в беседке». Как там дальше? Стан какой-то... Черт побери. Не помню, не помню совсем, а книжки ни одной не осталось.

Все потеряно. Я не принадлежу сему времени, я не способен выжить в этой тине, обмазавшей землю мою толстым слоем. Я ненавижу эти коврики с лебедями, этот

грязный город, это бездорожье, я ненавижу даже свои инструменты, кое-как стерилизованные в кипятке. Я ненавижу мещан с грыжами и крестьян с гнойными чирьями.

Спокойно, спокойно, поручик. Если и есть в моем существовании смысл, так воплощение его – тот мальчуган, которому я на днях вырезал гнойный аппендикс. Для меня все это – всего лишь последний акт трагикомедии «Крушение Империи». А для него – детство, полное новых запахов и чувственных переживаний, ему, малышу все в счастье. Устала лошадь, хрипит и не желает идти дальше под ледяным дождем – счастье. Луна на небе турецким полумесяцем грозит неверным – а он смеется, шевелит своими розовыми ножками, все ему в радость.

2.

Убог наш провинциальный быт. За окном серая мгла и дождь. Грязь, наша извечная российская болезнь-распутица. Порой мне кажется, что и Петербург построили с единственной целью: замостить наши бескрайние пространства, одеть их в гранит, придумать Невский с кружевными мостами и свободолюбивыми конями. Противостоять хаосу запущения методом художественного насилия.

Увы, теперь уж и существование моего города отсюда кажется эфемерным. Последняя весточка из дома случилась весной – проезжал через наше захолустье гимназический мой друг Юрий, постарел изрядно, запаршивел – весь в струпьях. Не узнать выпускника Петербургского университета, нет, не узнать. Теперь служит он уполномоченным в комиссариате, название которого произнести невозможно.

– А ты знаешь, Володя, – бубнил он, выпив дрянной водки и захмелев, как случается со смертельно усталыми людьми. – Ты меня может быть презираешь за то, что я к ним на службу подался. А я их где-то в глубине души понимаю. Ведь они сами не ведают, что творят. Дернули за ниточку, поднялись темные деревенские мужички да матросики, и пошло-поехало. А людям дрова нужны, керосин, ши в конце концов, и хорошо бы с мясом. Люди – они всегда люди.

– Ну так и служи себе спокойно, что ты оправдываешься? Бог тебе в помощь.

– В конце концов, это какая ни есть, а родина наша. И ей служить должно, не тому ли мы присягали?

– А я ли не служу? Мужичкам этим твоим, абстрактным, которые для меня очень даже живые и плотские, да еще воняют так, что хочется умереть... Служу, Юра, служу. Язвы мазями залечиваю, грыжи вырезаю. И об отечестве и присяге не думаю. А тебе я тебе завидую, Юра. Нет, правда, ни грамма иронии. Ты счастливый человек. Для тебя родина – нечто общее, запредельное. Она может поглотить твоих близких и остаться родной. А я, брат, людоедам поклоняться не могу.

– Людоедам? Людоедам! – Юра покраснел. – А мы с тобой, Володя, не людоедами ли были?

– Юра. Давай все-таки не будем ссориться. Слишком много нас связывает в прошлом. Да и происхождение обязывает

– А знаешь, Володя. Ты все-таки классовый враг. – Юра начинал крепко пьянеть. Ты еще в гимназии был упрямым, а теперь...

– Юра, да у меня половина семьи сгинула в этом водовороте. Мужички елейные, это все граф Толстой виноват, идеалист хренов. Ходил себе по Ясной Поляне, косил траву и размышлял о народе-богоносце. А получилось что? Татарская орда, беспредел, пьянство и насилие. Я тебе рассказывать ничего не буду, не хочу, да и тяжело очень.

– Пройти через это надо, пройти. Простить и... И понять. А ты не хочешь, нет, не хочешь. Ты гордый, куда нам... – Юра уже еле ворочал языком.

– Ложись-ка спать. Утро вечера мудренее.

С утра мы молчали, потом друг мой кое-как умыл лицо, отказался от чая и уехал. Попрощались мы сухо. Как будто целая эпоха исчезла, словно морская волна смыла замки, построенные из песка Французской Ривьеры. Отец, мама, мы с сестрой, солнце, чайки и детский плач.

Господи, ну как же можно жить в этом чудовищном театре абсурда, который ты устроил?

3.

Опять эта мерзкая дрожь в руках, опять это изводящее желание смерти. Господи, прости! В последний раз. Клянусь. Морфин-то я ворую в больнице, пользуясь своим положением. Стыдно. Зачем?

Вот и нет больше моей юности, моего города, моих набережных. Все поглотила черная тина. И вязнут в ней лодки древних египтян, морщатся брезгливо гордые сфинксы, и только Нева все еще пытается сбежать в бесконечность.

Пульс стабилизируется, доктор.

Элементарное образование в области военной медицины говорит нам, что боевая единица, пораженная в бою копьем, саблей, стрелой или даже пулей совсем даже не падает, как подкошенная. Она бьется в конвульсиях. Пролетарий, или барон, да что там, сам Государь Император, все едины перед лицом смерти. Подергиваются мышцы, ревет искаженный криком рот, и видения прошлого волшебным фонарем спускаются в последний раз на эту сцену...

Громыкает гром, кавалеристы отдают салют, из-под копыт лошадей фонтанчиками поднимается в вакуум стружка. Почему стружка? Чем они засыпали манежи? Какая разница, лишь бы утренний туман покрывал поля и перелески, лишь бы пели птицы, которым власть советов и прочих от лукавого, лишь бы петух налетал на курицу, лишь бы стелился папоротник и били хвостами русалки в омутах...

Мне кажется, я лечу над землей в белесом мареве. Я поднимаюсь от овражка, в котором меня потом расстреляют. Знание это не прибавляет ничего. Ерунда, ничего

особенного, обычный лесок. Трава, елки. Покой, который испытываешь только в детстве, заснув где-нибудь на пригорке.

А вот и музыка. Страшная и великая. Как прибой океана. Это Рахманинов. Я слушал этот концерт лишь однажды. Меня даже Сергею представили как-то раз, в случайной компании. Жизнь наша – случайность. Случайные лица, случайные платья, незнакомая квартира, рояль и запах еды. Стыдно, кроме благоухания пищи почти ничего не помню. Голод дает себя знать, подменяя воспоминания и обостряя в них столь незаметные в прошлом детали.

Отпускает... Слава Богу. А за окном – ливень и грязь. Ливень... Это же тропики какие-то, как кто-нибудь может выжить под этой отвесной стеной... неужели в этой белесой пелене что-то существует, рождаются люди, пишутся стихи. Как? И зачем?

4.

Озноб и пот, выдавливающий из тела душу. Разбилось все на мелкие осколки, разлетелось вдребезги, а я сижу в неухоженной каморке черт его знает где и убиваю себя. Стыдно, господин поручик, стыдно.

Если существует в мире Высший разум, то я безусловно являю ему зрелище жалкое. Небритый, с безумными глазами, я вытапываю два линейных метра между столиком и подгнивающим половичком. Или, взять кровать... Сплю как мужик, белья в сущности никакого, эту рваную простынь бельем назвать стыдно. Одеяло пролетарского образца, засаленное и протухшее. Надо бы постирать все, да где и как в этом безобразии. Стена давным-давно облупилась причудливыми морщинками и наростами, узорами жизни. То Леночка подмигнет мне оттуда, то Сережа опять страдальчески поморщится, как он умел, то отец прикрикнет.

А ведь когда-то были квартира, волшебный фонарь и настоящие фонари на набережной, извозчики и опера, волшебный свет, сказочный снег, чарующая музыка и легкая дрожь по коже. Снег тогда был ласковым и пушистым. Не то, что сейчас. Мне грех жаловаться, детство было сказочным и добрым.

Зато зрелость забрала все, это закон сохранения счастья в действии.

Если развивать эту мысль: чего бы я хотел более? Несчастливого детства и благополучной зрелости? Честно говоря, не знаю

Я смотрю на себя в зеркало, на свою небритую физиономию, растресканные сухие губы и синяки под глазами и с ужасом замечаю, что в комнате есть кто-то еще. Он в офицерской форме, откуда она взялась в наше время? Человек этот лезет в мой шкаф, достает оттуда мои рукописи и делает из них самокрутки.

– Позвольте, кто вы такой? И что вы делаете?

– Курить очень хочется, поручик. Замечательная бумага, горит как факел и не воняет.

– Не смейте! Не трогайте ее письма, это все, что у меня осталось, не смейте! Убирайтесь немедленно!

- Это ты сам их жжешь, чудаки. Я лишь твое отражение.....
- Негодяй, подлец, а еще офицер! Вон отсюда!

Звон стекла. Я разбил зеркало, жалкое, мещанское. Видение мое исчезло. Порезал палец, течет кровь. Какое убожество!

Я смотрю на кучку пепла. К счастью, я не успел сжечь все. Одно из ранних ее писем, ничего особенного. Остались обрывки слов из округлого гимназического почерка.

Кровь меня не волнует, обычный порез. Я опускаюсь на пол и судорожно вспоминаю тот осенний день. Тогда я вроде бы подавал надежды...

- Владимир Николаевич, позвольте проверить, что вы там...

Я все сделал правильно, но сердце сжимается, в желудке холод... Труп крестьянина передо мной. Лицо у него хитрое, будто и в момент встречи с Господом он хотел продать обоз овса втриморога.

– Владимир Николаевич, – профессор обнял меня. – Дорогой. У вас талантливая рука. У меня на это чутье.

- Да что вы, Валериан Петрович. Я просто выучил ваши лекции.

– Угу, – подмигивает мне он. – А Давида Микеланджело могли бы сваять? Я в лекциях опишу процесс: взяли глыбу мрамора, изваяли голову, грудь, руки.

- Зачем вы сравниваете?

– А затем, Володя. Рука талантливого хирурга – это дар, подобный, и даже ценнее дара художника. Только нас не помнят. Парацельса, разве что. Человек, он как устроен – сегодня болит, завтра вылечили, и Слава Всевышнему. Дорогой, давайте у меня заниматься вечерами в анатомическом театре. У нас, так сказать, маленькая группа единомышленников. Согласны?

- Вы делаете мне честь. Клянусь...

– Оставьте ваши аристократические экивоки, мы и сами, так сказать. Итак, коллега, надрез делается решительно и безжалостно, безо всяких интеллигентских комплексов. Вот так...

Гениальный хирург, профессор и мой учитель умер от голода. Лучшие всегда умирают первыми, к жизни они плохо приспособлены. Купчики жировали икоркой и семгой, растерянные комиссары получали пайку и устраивали террор, а Валериан Петрович вдруг начал говорить загадками и упал в середине лекции. Потом выяснилось: скудный паек свой он делил со студентами.

Спать, пора спать. Завтра в больницу: оперировать, стиснув зубы, не понимая, зачем живу, встаю, хожу на службу.

Ужас в том, что и сон не приносит мне успокоения. Вот уже второй год снится Сережа, и тот вечер, закат, холмики. Господи, ну что тебе стоит, дай мне покой, ну почему укол прозрачной жидкости – единственное, что осталось в моей жизни.

Неужели я все-таки морфинист?

5.

Опять этот проклятый сон, преследующий меня вот уже несколько лет. Сергей выходит из стены и садится на кровать. Молча закуривает. Он всегда молчит и смотрит на меня.

– Не смотри на меня так. Ты сделал свой выбор. А я свой, и порой жалею об этом.

Он прикрывает глаза, будто в знак согласия.

– Быть может, друг мой, ты сделал правильно. Я на что-то еще надеялся. Да, понимаю, лгу сам себе. Я просто не хотел умирать.

Сергей молчит...

Той ночью мы пили коньяк с особенной страстью, которую рождает предчувствие катастрофы. Полупьяные актрисы хотели поехать с нами гулять, но Сергей сказал, сжав зубы «Перед смертью грешить не хочу».

К утру хмель рассеялся вместе с уходящими частями. Остались маленький неуютный городок, река и мост. Войска отошли к Новороссийску, за ними тянулись обозы. Медленно тянулись, как в синемаатографе. Хотелось заорать: да быстрее вы, сволочи, быстрее! Но куда там. Сплошная нелепость, да еще какая-то дура начала рожать и орала низким, грудным бабьим голосом.

Нас с Сергеем оставили на верную смерть – держать оборону на мосту, попытаться дать обозу добраться до Новороссийска. По-хорошему, мост надо было бы взорвать, да динамита не осталось – разворовали, сволочи, обменяли на водку и жратву.

Обреченность свою мы понимали, но уйти не могли – в обозах женщины и дети. И на все про все один пулемет и несколько солдатиков с винтовками, которым умирать неизвестно за что совершенно не хотелось. Человек пять тихо дезертировали уже в первые часы, и поймать их не было никакой возможности. Остальные пока держались, хмуρο поглядывая на нас.

Мы с Сережей поцеловались, сделали несколько глотков из походной фляжки. Неотвратимость – не дай Бог испытать это холодящее душу чувство.

Красные входили в город ближе к вечеру. Наступающие части встретил пулемет, тут же началась стрельба со всех сторон и сопутствующая неразбериха, во время которой оставшиеся в живых солдатики наши благополучно разбежались, сдирая с себя шинели. Патроны закончились, больше мы ничего сделать не могли и оставалось либо принять

смерть, либо уходить. Матерясь, мы отползли к мазанкам, стоявшим над рекой – был шанс спрятаться. Задыхаясь от напряжения, мы начали сдирать с себя форму.

– Унизительно, – Сергей неожиданно вздрогнул. – Русский офицер прячется от русских же мужиков, раздевается до исподнего.

– Прекрати немедленно, Сережа. Честь мы не уронили, сделали все, что могли. Теперь надо попытаться выжить.

– А зачем жить теперь? – Сергей вдруг начал застегивать пуговицы. – Ты задумывался, зачем теперь жить?

– Ты что, с ума сошел? Сережа, прекрати истерику!

– Прощай, друг, не держи меня.

Сергей встал, отряхнул грязь, насколько это было возможно, и вышел на дорогу, спускавшуюся к мосту. Он пошел навстречу красным, первые отряды которых уже вступали на мост.

Дьявол, мать твою, что же ты делаешь, Сережа, – рычал я, но будто какая-то сила вдавила меня в землю, и встать я не смог.

С моста послышалось оживленное улюлюканье, крики, и началась стрельба. Как ни удивительно, попасть в Сергея не удалось довольно долго, а может быть мгновения эти показались мне вечностью. Он шел навстречу смерти небрежной походкой горожанина, прогуливающегося по бульвару. Потом Сергей пошатнулся и не торопясь присел, глядя перед собой. Потом прилег, как ложится отдохнуть уставший человек: положил руки под голову и, казалось, успокоился. Потом начались конвульсии.

Последнее, что осталось в памяти и поразило меня безучастностью природы к делам людским – необыкновенно красивый закат: пышные библейские облака и красное, как кровь, солнце.

Я потерял сознание. Не знаю, сколько я пролежал в этой полуразрушенной хате – может быть день, а может быть и два. Спасло меня то, что красные торопились и в городе не задержались. У них впереди был Новороссийск со всеми штабами, генералами, складами и беженцами.

6.

Вот и утро. Опять не спал, глазищи красные, руки дрожат. И так уже давно. Ну почему у нас жизнь должна быть запредельной, уж если страдание – так умри, если согласие, так лижи пятки.

Меня прошибает пот, и в глазах звездочки. Кто-то из великих сказал, что империи – ничто, а любовь останется вечной. Чертов идеалист. Высочайшие порывы духа упираются в закопченный чайник и сырой хворост, который дымит как сволочь.

Холод пробирает существо мое, арктический холод, льдины и сталактиты в пещерах, и ничего не осталось, кроме полярного сияния и вечной мерзлоты. Чая, чая, горячего, густого. Он вернет меня к жизни, к этой гадкой суете и бездорожью, к этому вытертому коврику, к этой непреходящей боли.

Лена, Леночка. Девочка, милая. Последняя надежда моя, единственная любовь моя. Мы с ней будто связаны невидимой ниточкой судьбы, кто мог знать, что спустя десять лет мы окажемся рядом, в залитой грязью и туманом провинциальной дыре. И что моя Леночка станет женой нового хозяина жизни, бывшего то ли счетовода, то ли ремесленника со стеклянными глазами и в обязательном френче с кобурой.

Господи, какой день. Болячки человеческие накапливаются и прорываются гноем. Леночка, почему ты ходишь в этой кожаной гадости с платком на голове и выступаешь на собраниях? Лена, что с тобой. Только не говори, что ты приняла историческую необходимость, или что-то там еще из их убогого лексикона. Неужели ты восхищаешься мужеством этих убийц? Прости меня, но неужели ты спишь с этим животным? Лена. Только не это. Умоляю тебя, даже если ты с ним близка, скажи, что это не так.

Вот, пожалуйста, прочти письмо, которое я написал пару недель назад.

«Я стараюсь о тебе не думать, потому что боюсь. Да, трушу, стыжусь самого себя, корю совесть. Да и неловко в моем положении столь страстно желать чужую жену. И боюсь разговаривать с тобой. И отгоняю от себя эти мысли, и только ночью мечтаю и вспоминаю, и еще раз, и еще.

Я вспоминаю твое тело, твое лицо, твою грудь, и наши полудетские поцелуи и объятия, которыми наградил нас Господь. И ночами приходишь ты в мои сны, бесстыжая и нагая, светлая и любимая. Почему не соединились наши судьбы давным-давно? И почему люди обречены на поиск своих спутников, молекул, духовных единиц, без которых жизнь подобна казни, и почему они их не находят, или находят тогда, когда менять жизнь уже поздно. И когда остается лишь мечтать о близости, средней между духовной и физической, впрочем не имеющей особого смысла. Но все же желанной, ударяющей сознание, убивающей рассудок.

Стоит только подумать о тебе, и я не могу дышать. И за что, и зачем. И какая ерунда, вроде бы уже не восемнадцать мне лет. Резонанс. Станный, затягивающий и необъяснимый. Я хочу тебя. Хочу со всей страстной силой, понимая при этом всю изменчивость своих помыслов. Это на уровне инстинкта, я хочу обладать тобой, и умереть после, пусть хоть на позорном столбе.

Вот ведь какая магия, черт бы ее побрал. Я хочу слиться с тобой, не отпускать тебя ни на секунду, и, извини за откровенность, находиться в вечном греховном слиянии.

Меня убьют где-нибудь или расстреляют, да и мужа твоего скорее всего тоже. Ты поплачешь и выйдешь замуж за очередного хозяина жизни, кем бы он ни был. Но я все равно буду прилетать к тебе ночами, оттуда, из небесных сфер, и заставлять тебя изменять своему супругу, я буду шептать тебе на ухо нежные слова любви.

Может быть ты мирно доживешь до старости, может быть уничтожат и тебя – они не знают пощады. Встретимся на небесах или в будущей жизни.

Если ты все-таки захочешь увидеть меня, умоляю, дай знать. Я люблю тебя. При мысли о том, что этот плохо выбритый и туповатый монстр целует тебя, я схожу с ума. При мысли о том, что это происходит здесь, рядом, на соседней грязной улице, я корчусь ночами и кусаю губы.

Только не молчи, только скажи что-нибудь. Что через неделю, месяц, полгода ты улизнешь и будешь со мной, часа два, а лучше целую ночь. Если это случится – я готов умереть. Помнишь еще легенду про царицу Тамару?

Леночка. Я безумен, понимаю, готов согласиться, но люблю. А это сродни морфину. А возможно, и хуже...»

Сжечь, сжечь. Или все-таки послать? Не дай Бог увидит ее большевистский супруг, завтра же меня заберут и расстреляют в том самом овражке. Ну и черт с ними, жить мне все равно не зачем.

Нет, решено, передам. Пусть прочтет, если хоть что-то вздрогнет на миг в ее душе, это стоит жизни. А ведь, черт возьми, какая славная пустота, дьявольский огонь и нега внутри!

7.

Пить с утра перед операцией – значит пасть окончательно и бесповоротно. Хирургия не терпит запоев. К тому же, водка препааршивейшая, как врач говорю. От такой запросто можно отдать концы и обратиться душой к всевышнему. Может быть, это и к лучшему. По крайней мере, я забуду о Лене и Сергее.

Недостойно. Тут мир рушится, а я все... И о смерти. Чего вообще стоят усилия цивилизации и культуры? Чуть копни, чуть потревожь эту черную магму, неслышно потрескивающую под благополучной на вид оболочкой – улицами, храмами, трактирами и доходными домами, как первобытная ненависть вырывается наружу и крушит все, к чему прикоснется. Насилуют своих же, пролетарски сознательных баб, сжигают картины великих мастеров и бесценные книги, уничтожают знание законов природы, подменяя их бездумным рассуждением о превосходстве классового разума. Если бы я был философом, то утешился бы общими рассуждениями, мол, пройдет десяток-другой лет, страсти улягутся, жизнь возьмет свое, кесарю – кесарево. Нет, я не философ. Я видел трупы на обочине разбитой дороги. Настоящие трупы, человечьи, в снегу, в шинелях, с криком на замерзшем лице.

В детстве я однажды раздавил лягушонка. Черт его знает, почему – из инстинкта охотника. Он прыгал, пытался спастись, черненький, склизкий, а я, в ярких штанишках и новых сандаликах, в азарте пытался его догнать.

– Володя, – кричала мама. – Володя, не смей.

Но было поздно, кожаный сандалик с детским носком настиг черное тельце и превратил творение Божие в мутную горку склизи.

– Что ты наделал? За что ты убил его? – Рассердилась мама. – Ведь он бежал к своей маме-лягушке, он не сделал тебе ничего плохого.

Господи, как стыдно мне стало, как я рыдал, и пытался оживить его, и вспоминал, как лягушонок в отчаянии уворачивался от моих ножек. Боль в сердце жива до сих пор. Больно, больно, слишком чувствительными воспитали нас, оттого и все беды нашей родины. С варварами надо разговаривать языком силы, крови. А мы не можем, мы классиков начитались. А они, которые плоть от плоти, их не читали, потому новорожденного племянника моего в пьяном угаре схватили за ножки и головкой об стенку. Говорят, сестренка после этого полгода не разговаривала. Как-то там она теперь? Стыдно, уже месяц не писал, да и на последнее письмо ответил что-то бессвязное. Господи, помоги ей в жизни, ты же помогаешь страждущим и несчастным в страшные времена, иначе бы тебя не было.

Стучат в дверь. Кого несет в этот час?

– Товарищ Щукин, срочно надлежит сдать план коммунистических обязательств нашей больницы! За вами послали, опаздываем.

Ааа.... Слава Богу. Это Лупников, бывший санитар-недоучка. Рыжеволосый гигант с гниловатыми зубами. Хозяин новой жизни, секретарь организации красных и пролетарских санитаров.

– Завтра, милейший, завтра, я что-то приболел.

– Ага, – Лупников хитро скалится. – Я тоже так болеть люблю.

– Держи стакан, товарищ Лупников, – вздыхаю я. – И пей залпом за общее дело пролетариата, как полагается.

– Это завсегда можно, – соглашается секретарь. Но чтобы план, доктор, завтра был представлен. Дело ответственное.

– Да, и еще, Лупников, поскольку у меня жар, оперировать сегодня не смогу. Там как, критические случаи есть?

– Мужик какой-то с грыжей. Матерится ну точно, как вы. Пара горожан и солдат. Чирый у него на ноге, грязь занес.

– Товарищ Лупников, – на лице у меня появляется маска ответственности. – Мы, работники новой, социалистической медицины, должны помогать пролетариям, ожидающим медицинской помощи от государства рабочего класса. Так?

– А что вы имеете в виду, доктор?

На губе у него мелкие капельки пота, на лбу тоже – верный признак напряженной умственной деятельности.

– Я, Лупников, давно осознал ошибки и накипь происхождения. Мы должны лечить пролетариат несмотря на. На то он и победивший класс, который стремится освободить все прогрессивное человечество. Как говорил (я запнулся) – великий вождь мирового пролетариата – классовая солидарность всех трудящихся. Ну, где там этот больной с грыжей? Переплывем Стикс, в конце концов!

– Да нет, доктор, – засуетился Лупников. – Плыть никуда не надо, здесь же пешком, что вы, ей Богу загадками какими-то говорите.

8.

И ведь оперировал весь день, преодолевая тошноту и дрожь в пальцах. Может ли быть более чужеродное тело в этой больнице убогого города, разрушенного войной и ничтожеством власть держащих? Что я здесь делаю, почему застрял? Неужели мне доставляет удовольствие прозябать в своей каморке, а с утра месить сапогами грязь? Почему я не поехал домой, вслед за сестрой, ведь ей тяжело одной. Или это страсть к саморазрушению? Тайное желание смерти, столь близкой и доступной на войне, словно поманившей меня за собой.

Нет, по здравому рассуждению я не хочу умирать. Идея самоубийства всегда была мне чужда. Тем более, учитывая мою профессию.

Я просто кусочек невидимой ткани организма, оторванной от тела шрапнелью и выброшенной за окоп. В этом кусочке еще некоторое время пульсирует кровь, происходят обменные процессы, но без материнского тела, сердца и системы сосудов существование его обречено. Кровь сворачивается, остывает, запекается. Скорей бы уже...

Опять стучат в дверь. Как они мне надоели.

– Иду, иду....

– Здравствуй, Володя.

Господи, пусть разверзнутся недра земные, и ветры черные сгустятся над нами, я не могу. Дрожь охватывает конечности мои, я не принадлежу себе более, это стыдно и недостойно, но ничего не осталось у меня, кроме постыдной страсти к этой женщине.

– Леночка. Ты получила письмо? Ты все-таки пришла.

– А вы, Володя, однако... Забыли что ли где и когда живете, Владимир Николаевич?

– Не забыл.

– А зачем так рискуете? Муж мой, знаете ли...

– Знаю, Леночка, все знаю.

– Так зачем же все это? Я давно уже другая, забудьте прошлое.

– Леночка, я люблю тебя, я всегда тебя любил.

– Володя, что ты делаешь?

Я вдыхаю запах ее волос и начинаю целовать, вначале она отталкивает меня, но дыхание ее становится прерывистым.

– Господи, как же я по тебе соскучился. Помнишь, как ты убежала от отца и мы гуляли в парке? Я тогда в первый раз тебя поцеловал..

– Молчи. Я тебя ненавижу, глупый!

Это легкий, греховный туман, застилающий глаза. И все, и будь что будет, и ничего больше не надо, и пусть завтра смерть, я уже не боюсь. Лена, Леночка, единственная моя, любовь моя.

...

Странное чувство – боль, смешанная с опустошением. На губах у нее горькая складка, время от времени она поджимает их, словно мысленно разговаривает сама с собой.

- Мне пора, Володя.
- Одно только объясни мне: что с тобой?
- Ты о чем?
- Ты знаешь. Эта кожанка, этот платок, этот муж. Как ты могла? Как ты можешь?
- Вы слишком много себе позволяете, Владимир Николаевич.
- Не смей предавать душу! Ведь у тебя же есть душа, я знаю. Или лучше знаешь что, если боишься – иди, Лена, донеси на меня. Клянусь тебе, я не против.
- У меня своя жизнь. Я сделала свой выбор и о нем не жалею.

Когда видишь, как на лице у любимой женщины, встающей с постели появляется маска отчуждения, то понимаешь, что любовь – это просто боль, ревность и вакуум души.

- Я больше не приду, Володя. И запомни, навсегда запомни: ничего не было. Не пиши мне, не приходи больше. Мы незнакомы, слышишь? Иначе ты попадешь в расстрельные списки и никто не сможет тебе помочь.
- Лена. Приди еще хотя бы один раз, я умоляю тебя.
- Нет, я и так всем рискую. Сумасшествие какое-то. Прощай.

Ууу. Ууу, вою и корчусь как раненый волк. И так до судорог. О, Боги. Нет вас на этой земле, нет.

9.

Тянулись дни мои, тянулись, все глубже погружался я в бездну. И вот, представьте себе, да такое и представить невозможно. Посреди всего этого кошмара, грязи, голода и смертей вдруг возникает ангел.

В каждом, самом захолустном и грязном городке России даже в самые страшные времена отечественной истории обязательно найдется какая-нибудь дама преклонных лет, будь она монархисткой или попросту старой девой, средних лет, вспоминая первый и единственный поцелуй с заезжим офицериком. Так вот, эта дама устроит литературные чтения, будет восхвалять Александра Сергеевича и Михаила Юрьевича,

пройдется по новомодным течениям в литературе и непременно пригласит множество юных особей женского пола. Откуда они только берутся, эти провинциальные девочки с бледными личиками и прыщиками на лбу, чахоточные мотыльки смутного времени.

И отказать-то я в посещении почему-то не смог.

Она стояла у стены. Внешне она была не столь привлекательна, но внутренней чистотой сияло от нее и глаза ее светились.

У меня перехватило дыхание и сразу же стало неловко за потертый костюм и рубашку с нитками, торчащими из обтрепавшихся рукавов.

Она увидела мое смущение и улыбнулась.

В тот момент я понял, что должен, просто обязан заговорить с ней.

– Откуда вы здесь? – спросил я, задыхаясь.

– Мы уже три года, как живем у двоюродной сестры мамы. А я вас знаю, Владимир Николаевич, – улыбнулась она. – Мама у вас в прошлом году лечилась, я даже в больницу несколько раз приходила, не помните?

Она звалась Татьяной. Нет, ей-богу, девушка эта была святой. Мы крепко подружались. Она приносила мне книги, убиралась в комнате, даже готовила обед, когда было из чего. И мы разговаривали, разговаривали подолгу, она освещала мое бытие, вернула мне ощущение жизни, рассудка, смысла, давно утерянного и забытого. Я даже почти прекратил вкалывать себе морфий, только изредка, когда ночами совсем становилось невозможно дышать.

Я о многом ей рассказал: о семье, о Сергее и даже о Лене, хотя и несколько опасался последствий.

Однажды в начале апреля мы сидели вечером в моей облагороженной обители и пили чай.

– Владимир Николаевич, я хочу, чтобы вы знали, как я к Вам отношусь. Вы умница, тонкий и образованный человек, вы губите себя.

– Танечка, милая, спасибо Вам. Но право, не жалеете меня, жизнь моя закончилась несколько лет назад, Вам это вряд ли удастся понять.

– Мне больно видеть, как вы уничтожаете себя из-за этой женщины... Забудьте ее, время все стирает.

– Ах, Танечка. Вы не знаете, что такое любовь, что такое страсть. К счастью. Желаю вам, чтобы в судьбе вашей не было такого. От всей души желаю.

– Почему вы думаете, собственно, что я не знаю ничего про любовь?

– Вы еще слишком молоды. И знаете, я открою вам секрет, который не знает еще не одна живая душа: я пристрастился к морфию, только он один и дает мне успокоение. Каждый раз ругаю себя, рискую. Вот, посмотрите – я показал ей мерзкие следы от уколов.

– Боже. Боже, что вы делаете! Это все из-за нее, – содрогнулась Таня. Почему, почему жизнь так мерзка? – Она зарыдала.

– На то она и жизнь, – я обнял ее худые плечики и с тоской подумал, что единственное, чего мне пока не хватало – утешать детей.

– Вы поделились со мной своей тайной, давайте и я поделюсь. Я люблю Вас.

– Что вы сказали, Танечка? – обомлел я.

– Да, да, я люблю Вас, Владимир Николаевич. Люблю, несмотря ни на что, я люблю вас всей душой, всем сердцем. Я на все ради вас готова, я готова принять страдания, душевные и физические, я...

– Остановитесь, милая. Да Господь с Вами! Я старше вас на почти на двадцать лет, – мне стало неловко. – Это пройдет, Танечка, пройдет. Вам нужно меньше читать литературы и больше думать о будущем, вы кого-нибудь встретите..

– Скажите, вы меня совсем-совсем, ну ни капельки не любите? Я некрасивая, да? Скажите только честно, я все выдержу, я клянусь!

– Танечка, ну что вы, право. Вы прелесть, у вас красивые глаза, нежные губы. Когда я в первый раз увидел вас, у меня дрогнуло сердце. Вы прекрасны. Берегите себя, в вас обязательно влюбится прекрасный молодой человек.

– Вы врете! Я вам противна!

– Ну что вы, Танечка. Господи, милая, вы же совсем ребенок, – я поцеловал ее в щечку, прижал губами мокрые веки и крепко обнял. – Милая, хорошая, замечательная девочка, дорогая моя. Вы видите, я падаю вниз, и чем дальше, тем стремительней, как бы это сказать, мой цикл жизни на исходе, мое время прошло, хотя я еще относительно молод. Все дело в душевной усталости, а душа у меня уже изношена, как у старика.

– Вы не должны, Володя. Вы не смеете!

Она начала целовать меня, вначале робко, в щеку, потом в губы, и мне было неловко за крепкий аромат табака изо рта, но уже горячее женское дыхание начало одурманивать мозг. Рассудком я понимал, что не должен, не имею права, но с каждым вздохом и поцелуем Танечки рассудка этого оставалось все меньше. А когда она со стоном спустила с плеч вытертого платице, его совсем не осталось.

После меня была нервная дрожь и ощущение того, что совершил подлость. Танечка свернулась калачиком под одеялом, я оставил ее и выбежал из дома. В больницу я не пошел, я помчался разыскивать Лену. К несчастью, разыскать ее оказалось просто: она была на службе.

10.

Внезапное появление Владимира Николаевича и его страстные объяснения на глазах у сослуживцев Лену перепугали. В ту ночь муж ее был в отъезде, и она написала анонимное письмо:

«Как пациентка областной больницы и сочувствующая делу пролетарской революции заявляю, что доктор Щукин по сути тайный белогвардеец, сын царского офицера и тайный противник власти Советов. О чем неоднократно высказывался на визитах в городскую больницу, подрывая основы нарождающейся жизни и народного счастья и открыто призывая к контрреволюции»

Письмо она положила в ящик стола, пошла пить чай, и с удивлением обнаружила нервную экзему на руках, ближе к запястью. Что-то смутное крутилось в сознании, пробивалось наружу... Были там Володя, отец, детство, женщины в длинных платьях.

– Нет, не могу, – сказала себе Лена. Хотела порвать конверт, но передумала и пошла спать.

Утром она отправила письмо собственному мужу.

Владимира Николаевича тут же взяли. Его допрашивали, но почему-то отпустили. Возможно, потому что врачей в округе найти было невозможно, а партийное начальство время от времени болело, несмотря на железную революционную волю. А может быть надеялись выследить несуществующую контрреволюционную организацию.

Тут подошел Первомай.

Санитары и врачи суетились около больницы, готовясь принять участие в демонстрации. Владимир Николаевич, вследствие большой дозы морфия грезил, прикрывая глаза, вспоминая то отца, то Леночку, то Таню.

– Товарищ Щукин, – ухмыляясь сообщил бывший санитар Лупников. – Тебе, как социально чуждому, но примкнувшему, революция поручила нести во главе колонны красное знамя.

– Ступай, Лупников, – Володя был на рождестве в Петербурге, и Танечка была рядом.

– Или, доктор, несете знамя, или сами знаете – подмигнул рыжий. В вашем-то нынешнем положении.

– Иуды чертовы. Это что, я таким образом должен доказать свою невиновность? Кто тебя подослал, Лупников?

– Поручили, – смутился санитар.

– Вот как. Так вот, передай им, что я, потомственный дворянин, не буду нести вашу красную хамскую тряпку! Пошли к чертовой матери! Хамы, сволочи, и убийцы!

Володя швырнул знамя на землю и начал топтать его ногами.

– Да ты что, доктор? – Лупников поначалу перепугался, но взял в себя руки и оскалился. – С цепи что ли сорвался, буржуй проклятый?

– Пошел вон, собака, – Щукин ощутил холодное спокойствие. – Ненавижу! Всех вас ненавижу. Всех, слышите, всех!

Его взяли спустя несколько минут и расстреляли в тот же первомайский вечер в ограде за городом. Никто об этом не знал, доктор просто исчез, будто его и не было

никогда. Крестьяне и мещане маялись и даже мерли, пока не прислали молодого врача из районного центра. Он проработал лет пять, пока его не посадили в лагеря, на этот раз уже и даже доноса не потребовалось.

11.

У Тани через восемь месяцев родилась девочка, Елена Владимировна, или просто тетя Ляля. Вряд ли назвали тетю Лялю в честь женщины, погубившей Владимира Николаевича, выбор этого имени кажется странным, учитывая обстоятельства его гибели.

Вскоре Татьяна Алексеевна с дочкой перебралась в Ленинград, где их приютили чудом выжившие в Новороссийске мать Володи и его сестра, мои прабабушка с бабушкой. Таня и прабабушка погибли от голода в Ленинграде во время блокады, в 1942 году, бабушка каким-то чудом выжила. Тетю Лялю успели эвакуировать в последний момент – из города вывозили детские сады. После войны ее разыскал и взял к себе родственник Татьяны Алексеевны, о котором я почти ничего не знаю.

Во время визита президента Никсона в Москву (а было это году в 1972 и учился я в пятом классе), тетя Ляля приехала к бабушке в гости. Помню, мы долго гуляли по лесопарку около канала имени Москвы, а потом рассматривали старые, дореволюционные фотографии. Бабушка очень любила брата, плакала, рассказывала тетке все эти истории, вспоминала детство. Тогда я впервые услышал фразу «это морфий его погубил» и узнал про книгу, изданную бабушкиным братом еще до революции.

На прощание тетя Ляля обняла меня и поцеловала. Было это в метро, на станции «Площадь Революции». В вестибюле пахло керосином, вокруг напряженно сидели революционные бронзовые матросы и солдатики с парабеллумами в руках.

«Ненавижу эту станцию. Ну, прощай. Может и не увидимся больше.» – сказала вдруг она.

Через несколько месяцев Елена Владимировна скоростижно умерла от рака крови. Сыновья ее, Вадим и Женя, были уже совсем взрослыми, бородатыми мужиками, выпускниками Политеха. Только какие-то черты – брови, овал глаз и ямочки под губами напоминали о нашем дальнем родстве.

Я пытался найти в архивах злополучного уездного южного городка хоть какие-нибудь упоминания о судьбе Владимира Николаевича, но тело его, как и душа его, исчезли без следа.

Вроде бы, если верить архивам, и комиссара-чекиста, и жену его Леночку, арестовали в конце тридцатых годов, оба они сгинули. Справедливости или исторического возмездия в этой бездне искать не имеет смысла.

Еще удалось найти ссылку на книгу стихов Володи «Лепестки Граната», изданную в 1916 году. Самой книги, кажется, найти уже не суждено. Вот и подумалось: надо бы

записать все это для истории, хотя бы по памяти, а то исчезнет навсегда и растворится в бездонном времени.

Так я и сделал. Во время последнего визита к старикам-родителям нашелся бабушкин портфель с фотографией, где они с Володей сидят на террасе, увитой виноградом. Володя только что издал книгу, симпатичное, тонкое лицо, хороший костюм. Бабушке 16 лет, она в кружевном платье, молодая, полная ожидания жизни.

За их спиной – холмы Грузии с цветущими гранатовыми деревьями. На обороте подпись: Фотографическое агентство. А.Ф. Брукса. Тифлис. 1916 год.

.oOo.